

Посвящается Андреа

Все, что мы желаем изменить в детях, следовало бы прежде всего внимательно проверить: не является ли это тем, что лучше было бы изменить в нас самих.

Карл Густав ЮНГ. «Развитие личности»

Но самые тяжкие, сокровенные трагедии раннего детства, когда руки ребенка, обвившие шею матери, отрываются от нее навеки – а уста его навеки расстаются с поцелуем сестры, – вот эти переживания пребывают неустраимо, таясь до последнего во глубине глубин.

Томас Де КВИНСИ. «Suspiria de Profundis: палимпсест человеческого мозга»





ТЫ, разумеется, знаешь, с чего все началось.

Все началось так же, как и сама жизнь – с крика.

Я сидел за столом наверху, сводил бухгалтерию. Настроение мое было весьма бодрым, поскольку утром мне удалось довольно выгодно продать средневикторианский откидной столик. Было около половины восьмого. Помнится, я еще обратил внимание, как красиво небо за окном. Один из тех восхитительных майских закатов, угасание которого вмещает в себя всю прелесть прошедшего дня.

А где же была ты? Ах да: в своей комнате. Ты играла на виолончели с тех пор, как Рубен отправился к друзьям на теннисный корт.

Когда я его услышал, тот крик, я как раз перевел взгляд на парк. Кажется, я все-таки смотрел на каштаны, а не на пустую гимнастическую лестницу, потому что на Ист-Маунт-роуд я никого не заметил. Я пытался разобраться с какой-то нестыковкой в цифрах, уж не помню точно, с какой именно.

О, я и сейчас не забыл тот вид из окна. Я мог бы написать десять тысяч слов о том закате, о том парке, о том рутинном беспокойстве за дебети кредит. Видишь ли, я пишу это и снова возвращаюсь и в момент, и в комнату, и в состояние окутавшей меня теплой неги неведения. Мне кажется преступлением так легко воссоздавать тот вечер и тот миг, когда прозвучал крик, наполненный особым смыслом. Но я должен рассказать, как все было, в точности так, как я видел, потому что это стало концом и началом всего, понимаешь? Так что давай, Теренс, день не бесконечный.



Сперва крик просто помешал мне. Он вторгся в сладостное звучание какой-то сонаты Брамса, доносившейся из твоей комнаты.

И не успел я понять, почему именно, как он отозвался во мне болью, спазмом в животе, будто мое тело все осознало раньше разума.

Одновременно с криком с той же стороны послышался другой шум. Голоса слились в хор, повторяющий какое-то двусложное слово или имя, которое я не мог разобрать. Я посмотрел туда, откуда доносились звуки, и увидел, как ожил, мигая, первый уличный фонарь. На горизонтальной его перекладине что-то болталось. Какая-то неопределенная темно-синяя фигура высоко над землей.

Внизу стояли люди – мальчишки – и вдруг я с внезапной ясностью понял, что за объект над ними висит, и что повторяют их голоса.

– Рубен! Рубен! Рубен!

Я застыл. Видимо, какая-то значительная часть меня все еще была поглощена счетами, потому что секунду или около того я смотрел и бездействовал.

Мой сын висел на фонарном столбе, изо всех своих сил рискуя жизнью, чтобы развлечь тех, кого он считал друзьями.

Я почувствовал, как все вокруг меня стало резким, и сдвинулся с места, ускоряясь по мере того, как пересекал лестничную площадку.

Музыка стихла.

– Папа? – позвала ты.

Я сбежал по лестнице и пронесся сквозь магазин. Я что-то задел бедром, какой-то шкафчик, одна из статуэток упала и разбилась.

Я пересек улицу и побежал к воротам. Пробежал через парк с былой молодецкой прытью, перепрыгивая через листья и траву, через пустую игровую площадку. Все это время я не сводил с него взгляда, будто, отведи я на секунду глаза, его хватка сразу ослабнет. Я бежал, и ужас пульсировал у меня в груди, в ушах и перед глазами.

Он перебирал руками, подвигаясь ближе к вертикальной части столба.

Теперь я видел его лицо, залитое неестественным желтым светом фонаря. Он скалился от напряжения, а глаза навывкате выдавали осознание совершенной ошибки.

Пожалуйста, Брайони, пойми: боль ребенка – это боль его родителя. Я бежал к твоему брату и знал, что бегу к самому себе.

Я спрыгнул с парковой ограды на мостовую, приземлился неудачно. Подвернул лодыжку на бетонной плитке, но несмотря на это бежал к нему и звал его по имени.

Твой брат не мог пошевелинуться. Мука искажала его лицо. Свет фонаря осветил его кожу, скрывая родимое пятно, которое он всегда ненавидел.

Я был уже близко.

– Рубен! – кричал я. – Рубен!

Он увидел, как я проталкиваюсь сквозь толпу его друзей. Я все еще помню его лицо, на котором сменяли друг друга замешательство, страх и беспомощность. В этот миг, когда он увидел меня, когда отвлекся, концентрация, необходимая ему, чтобы удержаться, внезапно исчезла. Я почувствовал это прежде, чем все случилось, ощутил злорадство фатума, истекающее из-под террас домов. Невидимое всепоглощающее зло, забирающее последнюю надежду.

– Рубен! Нет!

Он упал. Быстро и грузно.

Секунда – и его крик прекратился, и вот он лежит на бетонной плите прямо передо мной.

Все это выглядело чудовищно, неестественно – он лежал, как брошенная тряпичная кукла. Изогнувшиеся сломанные ноги. Учащенные движения грудной клетки. Сверкающая кровь, льющаяся из его рта.

– Вызывайте «скорую»! – крикнул я мальчишкам, столпившимся вокруг в онемении. – Быстро!

В стороне, по Блоссом-стрит, неслись машины, направляясь в сторону Йорка или в торговые центры, ничего не знающие, ни к чему не чувствительные.

Я опустился на колени и коснулся рукой его лица, и умолял его не покидать меня.

Я умолял.

Все казалось каким-то продуманным наказанием – то, как он умер. Я видел решимость в его глазах, пока из его тела постепенно уходила субстанция под названием «жизнь».

Одного мальчишку, самого маленького, вырвало на асфальт.

Еще один, бритоголовый, востроглазый, отшатнулся, отступил на пустую дорогу.

Самый высокий и мускулистый из всей компании просто стоял и смотрел на меня, спрятав лицо в тени капюшона. Я ненавидел и этого мальчика, и его жестокое равнодушие. Я проклинал Бога за то,

что этот мальчик стоял передо мной и дышал, пока Рубен умирал на асфальте. И, несмотря на отчаяние и остроту момента, я ощущал, что с этим мальчиком что-то не так, словно он попал в этот сюжет из совсем другой реальности.

Я взял Рубена за руку, за отяжелевшую левую руку, и увидел на покрасневшей ладони следы от перекладины, за которую он держался. Я гладил эту ладонь и говорил с ним, нагромождая слова поверх других слов, но все это время я наблюдал, как он покидает собственное тело, как он исчезает. А потом он кое-что сказал.

– Не уходи.

Будто бы это я уходил, а не он. Это были его последние слова.

Его рука похолодела, ночь сгустилась, а потом приехала «скорая», чтобы подтвердить, что уже ничего нельзя сделать.

Я помню, как ты шла через парк.

Помню, как оставил на земле тело Рубена.

Помню, ты спросила: «Папа, что случилось?»

Помню, как сказал: «Иди домой, детка, пожалуйста».

Помню, ты спросила про «скорую».

Помню, я тебе не ответил и просто повторил свою просьбу.

Помню, как тот мальчик в капюшоне в упор на тебя посмотрел.

Помню, как я сорвался, помню, как схватил тебя за руку и заорал, помню, что был как никогда резок с тобой.

Помню выражение твоего лица, и как ты побежала обратно к дому, к магазину, и как закрылась дверь. И как сквозь безумие пришло осознание, что я предал вас обоих.

Как тебе известно, большую часть своей жизни я ремонтировал сломанные вещи. Чинил часовые циферблаты, реставрировал старые стулья, восстанавливал расписной фарфор. За долгие годы я в совершенстве овладел искусством выведения пятен с помощью нашатырного спирта или уайт-спирита. Я могу убрать царапины со стекла. Я могу имитировать различные текстуры дерева. Я могу реставрировать изъеденный коррозией подсвечник эпохи Тюдоров с помощью уксуса, стакана горячей воды и куска мягкой стальной мочалки для посуды.

Я испытал это захватывающее ощущение, когда однажды купил туалетный столик красного дерева времен Георга III, покрытый двухсотлетними рубцами и царапинами, а потом вернул ему былой блеск. То же самое было, когда миссис Уикс зашла в магазин, потрогала своими искусственными пальцами вустерскую вазу и не заметила ни одной трещины – совсем недавно это наполняло меня счастьем.

Полагаю, все это давало мне некое ощущение власти. Это был мой способ побороть время. Возможность противопоставить себя гнили и увяданию. И я не могу передать тебе, какую отчаянную боль приносит мне то, что я не способен с такой же легкостью восстановить наше собственное прошлое.

Ты должна кое-что понять.

В моей жизни было всего четыре человека, которых я по-настоящему любил. Из этих четверых осталась только ты. Остальные погибли. Сын, жена, мать. Все трое умерли преждевременно.

У тебя есть три любимых человека, и они умирают. Никто не устроит по этому поводу публичного расследования, правда? Правда. Скольких еще ты должен любить, а потом похоронить, чтобы люди заподозрили, что с этой любовью что-то не так? Пятерых? Десятерых? Сотню? Трое – это пустяк. Всем плевать. Просто старое доброе невезение, пусть даже оно и унесло три четверти тех, до кого тебе было дело в этом мире.

О, я старался быть разумным. Брось, Теренс, говорил я себе. Ты не виноват ни в одной из этих смертей. Конечно, окажись я в суде, к моей защите было бы не придраться.

Но как судить за любовь? Какое наказание мог бы вынести такой суд, чтобы оно оказалось страшнее горя? После смерти Рубена мне начало казаться, что что-то не так и со мной, и с моей любовью. Я проворонил Рубена. Он умер среди своих друзей, ни с одним из которых я не был знаком.

Я любил его и всегда думал, что как следует о нем позабочусь, просто это случится немного позже. Я не мог принять, что это «позже» никогда не настанет.

Конечно, для любого родителя смерть ребенка – это всегда нечто невозможное. Ты слышишь вступление знакомой сонаты, а потом музыка замирает, но эти ноты еще звучат в тебе, и их красота и сила не

становятся менее реальными, менее совершенными. Только вот я игнорировал мелодию Рубена. Она звучала все время, на протяжении всех его четырнадцати лет, но я отключился, я не слушал. Я всегда был занят магазином или тобой, а Рубен был предоставлен самому себе.

И теперь я изо всех сил старался найти то, что раньше игнорировал, и когда прилагал достаточно усилий, мне удавалось уловить отдельные отблески, короткие вспышки жизни, которая стала чем-то иным, но не закончилась по-настоящему. Звуки возвращались, но не в правильной последовательности, а в виде хаотичной мешанины, обрушиваясь на меня тяжким грузом вины.

В день похорон меня разбудило какое-то жужжание. Злой, пилящий звон разрезал темноту. Я открыл глаза и приподнял голову посмотреть, откуда идет звук. Мне была видна вся комната, мягко освещенная пробивавшимся сквозь занавески утренним солнцем. Фотография твоей мамы в рамке, платяной шкаф, репродукция Тернера, французские каминные часы. Все как всегда, кроме жужжания. И только когда я привстал повыше, опершись на локти, я увидел источник звука. Низко над кроватью, над одеялами, укрывавшими мои ноги, роились около пяти сотен мелких мошек, просто висели в воздухе, словно я был трупом, лежащим в пустыне под палящим солнцем.

Я не сразу испугался. Вид этих существ, летающих небольшими кругами, поначалу завораживал. Потом что-то изменилось. Словно вдруг заметив, что я проснулся, мошки начали двигаться сплошным облаком все ближе к изголовью кровати, к моему лицу. Вскоре они полностью окружили меня, как темный снежный вихрь, и их злобный незатихающий гул с каждой секундой становился все громче. Я нырнул глубоко под одеяло, надеясь, что мошки за мной не последуют, и вместе с этим внезапным движением жужжание полностью прекратилось. Я секунду подождал в теплой и уютной темноте, потом выглянул.

Все мошки бесследно исчезли. Я снова осмотрелся, и, хоть этих тварей уже не было, меня накрыло ощущение, что комната каким-то образом изменилась, словно каждый предмет в ней тоже оказался во власти моей иллюзии.

Я помню, как мы с Синтией разговаривали в машине, пытаюсь худо-бедно прикрыть свое горе, пока похоронная процессия двигалась по старым саксонским улочкам. В какой-то момент бабушка повернулась к тебе и сказала: «Ты молодец». Ты так же грустно улыбнулась ей в ответ и, соглашаясь, угукнула. Ты была удивительно собрана, как и всю прошедшую неделю. Слишком собрана, подумал я, переживая, что ты излишне подавляешь свои чувства.

Я старался думать о твоём брате, но мысли все равно возвращались к тебе и к тому, как смерть брата-близнеца повлияла на тебя.

Целую неделю ты не прикасалась к виолончели. Это можно понять, говорил я себе. Ты каждый вечер ходила на конюшню, ухаживала за Турпином, но ни разу не каталась на нем с того дня, что предшествовал гибели Рубена. И этого тоже стоило ожидать. Ты потеряла брата и осталась теперь единственным ребенком единственного родителя. И все же меня что-то тревожило. Ты не ходила в школу, а я закрыл магазин, и тем не менее мы, кажется, за всю неделю ни разу толком не поговорили. У тебя постоянно находился повод выйти из комнаты – проверить утюг, накормить Хиггинса, сходить в туалет. И даже теперь, в этой медленно едущей машине, ты чувствовала, что я смотрю на тебя, и морщилась, словно жар моего взгляда жег тебе щеку.

На подъезде к церкви Синтия сжала мою руку. Я обратил внимание на ее ногти, как обычно покрытые черным лаком, на ее макабрический макияж, и вспомнил ее печальную утреннюю шутку о том, что от ее модных предпочтений есть хоть какая-то польза, потому что теперь не придется думать, что надеть на похороны.

Мы остановились у церкви и вышли из машины. На наших лицах застыло горе, которое мы действительно чувствовали и которое нам полагалось выражать. Мы шли мимо старых скособоченных могил жертв чумы, и я думал обо всех этих мертвых родителях, разлученных со своими детьми. Помнишь страшную историю, которую рассказывала Синтия? О мальчике, умершем от чумы и похороненном за стенами Йорка согласно новым законам, а потом дух его матери восстал из своей могилы и тщетно искал сына? Она рассказывала вам эту историю, когда вы были маленькими, а потом уходила и уносила

свечи и апельсины, из которых мы делали кристинглы, а Рубен смеялся, потому что ты пугалась.

Так странно. Я будто бы тону. Приходит воспоминание, а за ним следует еще одно, подныривает и тащит вниз. Но я должен держаться на воде. Я должен хватать ртом воздух.



Тебе, наверное, не понятно, зачем я снова и снова все это вспоминаю, ведь ты тоже там была, но я должен рассказать тебе все так, как видел это, потому что ты знаешь только свою версию, а я – только свою, и я надеюсь, что когда ты прочтешь мою историю, ты взглянешь на мои действия иначе, и, может быть, в этом просвете, в этом воздушном просвете между твоим чтением и моей писаниной проявится некая истина. Тщетная надежда, но другой у меня нет, так что я буду держаться за нее, как всю дорогу держался за тебя.

В конце тропинки нас уже ждал Питер, викарий, готовый выразить сочувствие и дать дальнейшие указания. Он что-то сказал тебе, и Синтия влезла в разговор, спасая тебя от необходимости с ним беседовать. А потом я обернулся и увидел того мальчика, которого встретил, когда погиб Рубен. Того мальчика, которого я сразу возненавидел за глухое равнодушие на лице. Капюшона на нем уже не было. Он надел дешевый костюм, черный галстук, и, должен признать, внешность его впечатляла. Бледная кожа, черные волосы и как будто некая темная и гнетущая сила в глазах. Что-то жестокое и опасное.

Не знаю, видела ли ты его. Видела? Я кое-что шепнул Синтии и пошел к нему мимо всех этих древних могил.

– Могу я узнать, что ты здесь делаешь?

Он ответил не сразу. Сперва подавил ярость, которая внезапно проступила на его лице.

– Денни я, – сказал он, словно это что-то объясняло.

– Денни?

– Я дружил с Рубеном, – его голос звучал слишком надменно, даже задиристо, что никак не соответствовало случаю.

– Он о тебе не рассказывал.

– Я ж там был, когда он... Ну вы видели.

– Да, я тебя видел, – я решил воздержаться от наскоков и обвинений. Не время и не место. – А зачем ты сюда пришел?

– На похороны.

– Нет, тебя не приглашали.

– Ну я хотел, – его взгляд был жестче его голоса.

– Что ж, ты явился. А теперь можешь уходить.

Он смотрел вдаль через мое плечо. Я обернулся и увидел, что викарий все еще не отпустил тебя.

– Иди, – сказал я. – Тебе здесь не рады. Не беспокой нас.

Он кивнул. Подозрения подтвердились.

– Да, – процедил он сквозь сжатые губы. И пока он уходил, меня посетило исключительно странное и неприятное ощущение. Это чувство можно описать как брошенность, словно из меня вытащили какую-то важную часть души, и я на мгновение перестал понимать, где я. В глазах потемнело, в мозгу словно вспыхнул электрический разряд, и мне даже пришлось схватиться за каменный столб, чтобы не упасть.

Тут мои воспоминания переносятся в церковь. Я помню, как мы медленно брели за гробом. Помню, как деликатен был викарий. Я, как сейчас, вижу Синтию у аналоя, зачитывающую отрывок из Послания Коринфянам без намека на привычную патетику: «Ибо, как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых...»

Еще более отчетливо я помню, как сам стоял и смотрел по сторонам, не в силах прочесть стихотворение, которое выбрал по случаю. Я видел множество лиц, и на каждом – обязательное выражение горя. Учителя, покупатели магазина, сотрудники похоронного бюро. И ты среди них, на передней скамье, глядишь на гроб своего брата. А я стоял и смотрел на лежащий передо мной лист, тот, на котором Синтия так аккуратно напечатала текст.

Некоторое время я не мог ни говорить, ни плакать – ничего не мог. Я просто стоял.

Из-за меня эта минута тянулась для бедных гостей как целая жизнь. Я еле дышал. Питер уже шел ко мне, приподнимая брови, но я, наконец, заставил себя начать.

– «К сну», – сказал я, и каменные стены ответили мне эхом. – «К сну».

Я снова повторил: «К сну», – поворачивая ключ зажигания в двигателе моего мозга. – Джон Китс.

*Бальзам душистый льешь порой полночной,
Подносишь осторожные персты
К моим глазам, просящим темноты.
Целитель Сон! От света в час урочный
Божественным забвеньем их укрой,
Прервав иль дав мне кончить славословье,
Пока твой мак рассылет в изголовье
Моей постели сновидений рой.
Спаси! Мне на подушку день тоскливый
Бросает отсвет горя и забот.
От совести воинственно-пытливой,
Что роется во мраке, словно крот,
Спаси меня! Твой ключ мироточивый
Пускай ларец души моей замкнет [\[1\]](#).*

Я сел на место. Питер завершил церемонию. Гроб понесли через проход, а я смотрел на ноги тех, кто его нес. Левый ботинок за правым ботинком. Синхроннодвигающиеся четыре пары ног, будто начинающие привычную пляску смерти.

Я поднял глаза и увидел лицо одного из них, и на лице была печаль, которой он не ощущал, но которой пытался замаскировать напряжение, вызванное необходимостью нести на плече тяжелый гроб.

Я посмотрел на тебя и сказал:

– Все в порядке.

Ты не ответила.

Спустя пять минут мы вышли на улицу, и легкий дождь застучал по большому черному зонту, которым я укрывал тебя и твою бабушку. После недели молчания ты расплакалась, а вслед за тобой и Синтия. Только мои глаза были сухи, хотя сердце мое, полагаю, рыдало. Должно было.

Я все еще слышу голос Питера:

– Мы вверяем нашего брата Рубена в милосердные руки Божьи и предаем его тело погребению, – гробовщики опускали гроб, отработанным движением ослабляя черные ремни. – Земля к земле, пепел к пеплу, прах к праху.

Спокойствие ритуальных повторов не могло сдержать твоих всхлипов.

– В твердой надежде и уверенности в воскресении в жизни вечной через Господа нашего Иисуса Христа, – гроб крепко стал на твердую землю. – Умершего, погребенного и воскресшего ради нас. Ему же слава во веки веков.

И вот звучит последнее хоровое «аминь», так тихо, словно из-под земли, в которой хоронят Рубена. Земли, убеждающей нас, что его больше нет.

Полиция ничего не собиралась делать с его друзьями.

– Его туда никто силой не загонял.

Вот такие первобытные представления о силе, о несчастном случае, об ответственности.

Я тебе не говорил, но я встречался с ними. С мальчишками. Они бродили по заброшенному теннисному корту, так что я завез тебя в конюшню и отправился сказать им все, что я думаю.

Они были на месте. Все, кроме Денни.

Я остановился у обочины и открыл окно.

– Надеюсь, вы довольны, – сказал я, высовываясь наружу. – Надеюсь, вам было весело смотреть, как он умирает. Надеюсь, вы спите сном праведников, зная, что его кровь на ваших руках.

Они стояли за проволочным ограждением, как банды из мюзикла Бернстайна. Бритоголовый востроглазый мальчик ответил грубым жестом, но вслух ничего не сказал.

– Убийцы! – крикнул я, прежде чем дать по газам.

И я этим не ограничился. Следующим вечером я кричал им те же самые обвинения. И следующим, и следующим тоже, но я ни разу его не видел. Я не видел там Денни. На самом деле, на четвертый раз я не увидел уже никого. Я кричал в пустоту, обвиняя воздух. Они исчезли из-за чувства вины, убеждал я себя. Их задело мои слова. Но самое странное, что меня это не утешало. У меня сердце упало, когда я вдруг понял, что их там нет, а моя ярость мягко перетекла в отчаяние.

Еще по ранним отзывам школьных учителей было видно, что твой брат вряд ли добьется больших академических успехов. Его не поливали постоянными «выдающийся» или «исключительный», как тебя, никакими «счастливы учить» или «несет радость в класс».

Рубен не интересовался книгами так, как ты. Для него чтение всегда было не более чем одной из регулярных обязанностей. Ему нравились рассказы о Дике Турпине и всех этих старых мошенниках, которые я читал вам на ночь, они нравились вам обоим, но он, услышав одну историю, хотел слушать ее снова и снова, а ты же всегда просила рассказывать о том, о чем ты еще ничего не знаешь.

Я прямо вижу, как он сидит у окна и рисует пальцами на запотевшем стекле. «Спокойный мальчик». «Внушаемый».

В наш слепой век деньги стали мерилom любви. Кто-то со стороны может жестоко заявить, что я заботился о тебе сильнее, потому что с одиннадцати лет платил за твое обучение.

А что мне оставалось? Я мог платить только за одного из вас – неужели ради справедливости вы должны были оба страдать? Я ли виноват, что Маунт – школа для девочек? Может, нужно было отправить учиться Рубена, который не особо заботился о своем образовании? Не уж, Сент-Джонс определенно подошел ему как нельзя лучше.

Должен признать, что это, конечно, были не единственные затраты на тебя. Ты, в конце концов, хотела в седло, так что я купил тебе коня и оплатил аренду конюшни. Ты хотела заниматься музыкой, так что я купил тебе скрипку, а потом оплатил уроки игры на виолончели в колледже. Ты хотела кота, а именно сливочного цвета бирманца, и я купил тебе Хиггинса.

Но ведь ты проявляла ко всему этому активный интерес. Это не значит, что я по-отцовски потакал любым твоим прихотям, а если бы и так – я бы столь же охотно потакал прихотям твоего брата, если бы он только просил о подобных подарках. Что нравилось Рубену? Я так и не понял. Он захотел велосипед – я купил ему, и довольно неплохой. Ему нужна была всякая высокотехнологичная ерунда, и он знал, что я не разрешу ему, еще до того, как спросил. Нет, забывать нельзя – твой брат был не так-то прост. Даже в горе я не могу не помнить об этом. Наоборот – горе заставляет меня помнить особо отчетливо, потому что я знаю, как сентиментальность иногда захватывает и топит воспоминания, и не дает больше вспомнить человека таким, каким он на самом деле был.

Я же хочу помнить его настоящим. Я хочу помнить его непрерывные ночные вопли в младенчестве, его детские припадки

гнева, его неудержимое пристрастие к мармеладкам. Я хочу помнить, как он злился, когда вы одновременно читали одну и ту же книгу. Я хочу помнить ваши с ним ссоры, даже ту, когда он разорвал твои ноты.

Я хочу помнить, как он сидел перед телевизором, прикрывая рукой родимое пятно на лице. Я хочу помнить случай с сигаретами, историю с магазинной кражей, разбитую вазу. Я хочу помнить, как по утрам в воскресенье вы ходили со мной на антикварную ярмарку, и он ныл всю дорогу.

Тем не менее, мне всегда было сложно думать о нем. Каждый раз его образ мягко подменялся твоим. Пытаясь вообразить вас совсем еще малышами, такими, какими вас застала мама, мне не удавалось вызвать в памяти его плачущее личико. Я всегда видел только тебя, тихо лежащую возле него в невинных бессловесных мечтах. Ты сама была мечтой.

И вот день, когда я впервые открыл магазин после его смерти. А ты вернулась в Маунт. Я полировал кувшины, супницы, столовое серебро. Я провел там весь день, в белых перчатках, наполняя магазин запахом полироля, а мое искаженное отражение смотрело на меня безумными глазами.

Приходили покупатели, и я отпугивал их, не давая им потратить деньги. Я делал ошибки. Я неправильно считал сдачу. Я уронил дэвенпортский кувшин. Я ужасно себя чувствовал.

– Давай, Теренс, соберись, – сказала помогавшая мне за стойкой Синтия. – Тебе нужно кормить мою внучку.

Знаю, я часто жаловался тебе, что она отпугивает покупателей – и своими ведьминскими ногтями, и нарядами, и прямолинейностью – но она мне действительно очень помогала.

А еще она любила где-нибудь торжественно поужинать без особого на то повода.

– Я хочу пригласить старых друзей из драмтеатра, – говорила она. – Мы пойдем в «Бокс Три». Похоже, заведение получило мишленовскую звезду, и у них новое меню. Столик придется заказывать за несколько месяцев, так что раз я хочу попасть туда в августе, то бронировать надо уже сейчас. Вы со мной пойдете?

Ты сидела на диване в бриджах для верховой езды, как раз собираясь в конюшню.

– Да, я пойду, – к моему облегчению ответила ты.

– Да, Синтия, конечно, – сказал я, понимая, насколько для нее это важно. – Я с удовольствием.

– Отлично, – сказала она. – Запишу в календарь.



В машине, по пути в конюшню, ты почти не разговаривала. Я помню, как высадила тебя, и меня снова накрыло чувство, как тогда на похоронах. То странное ощущение, будто меня уносит, будто душа покидает тело, а потом темнота в глазах. Когда я пришел в себя, я, разумеется, увидел его. Денни. Уже смеркалось, и когда я обернулся к загону и заметил его, потного, в спортивном костюме, тускло отсвечивающем в свете автомобильных фар, я решил, что мне мерещится. Я помигал, но он никуда не исчез и смотрел прямо на меня.

Я вышел из машины и попросил его уйти. Он отошел, взглянув на меня со стальной решимостью, и снова побежал. А потом я позвал тебя, помнишь? И мы поссорились, пока вели Турпина обратно в стойло. Разумеется, ты не представляла, что этот Денни здесь делает. Разумеется, ты ненавидела его не меньше, чем я. Разумеется, он раньше никогда так на тебя не пялился.

Ты была крайне убедительна, а меня легко было убедить, несмотря на ощущение, что я столкнулся с чем-то, неведомым мне ранее. Но в моей жизни было так много ценностей, которые я не спрятал и не защитил.

– Прости меня, детка, – сказал я. – Прости, что кричал на тебя.

Ты кивнула, а потом стала смотреть на проносящиеся мимо дома, мечтая, наверное, оказаться по ту сторону их золотых квадратных окон, на месте какой-нибудь другой счастливой девочки, коротающей вечер вторника.

Я помню, как пытался разобрать вещи твоего брата. Сидел на его кровати и чувствовал, насколько чужая для меня его комната. Плакаты фильмов, о которых я никогда не слыхал. Какая-то непонятная

техника, о наличии которой у него я даже не знал. Журналы, сплошь наполненные женщинами, непохожими на женщин, такими женщинами, которые выглядели не как люди, а как произведения дизайнеров итальянского автопрома.

Я порылся в его школьной сумке и нашел письмо, которое он мне так и не показал. Оно было от директора, там говорилось, что он пропустил два урока истории у мистера Уикса. Письмо было написано в марте, то есть до того, как мистера Уикса уволили. Я запомнил его, когда он приходил ко мне в магазин с женой и сыном Джорджем, чтобы купить сосновый комод. Такой высокий, похожий на снежного человека, наверняка весь класс над ним смеется, подумал я.

Так странно было сидеть в этой комнате. Присутствие Рубена было таким реальным, оно наполняло все предметы вокруг, и они напоминали мне, как мало я о нем знал. С помощью Синтии мне удалось упаковать вещи и убрать их на чердак. Ты, кажется, нам помогала, да?

Я очень хочу кое-что тебе рассказать, это касается его велосипеда. Ты помнишь, я выставил в окне объявление, что продаю его за двадцать пять фунтов. На следующий день позвонила женщина и сказала, что хочет купить его для своего сына. Шотландка с длинным лицом, чем-то напominившая мне статуи аборигенов с острова Пасхи.

Я как раз вывозил велосипед из сарая, когда вокруг меня сгустилась тьма и снова пришло это странное ощущение изнутри головы. Только в этот раз оно было сильнее. Будто бы кто-то крутил в моей голове ручку настройки, переходя с частоты на частоту, пытаюсь поймать новую станцию. Ощущение достигло пика, когда я похлопал по седлу и позволил шотландке забрать велосипед. Я постоял немного в легком трансе, посмотрел, как она катит его по улице. Я стоял и ждал, пока велосипед не скрылся из виду, и потом ощущение ушло, позволяя моему мозгу вернуться к успокоительной печали.

Как сказал однажды твой бывший кумир Пабло Казальс, быть музыкантом – значит распознавать душу вещей. Душу, которую лучше всего можно увидеть с помощью Стейнвея или Страдивари, или лучше всего выразить через Баха и Моцарта, но эта душа всегда присутствует в любом объекте или явлении.

Я, конечно, не музыкант. Я продаю антиквариат, но пользуюсь теми же знаниями. Сидишь весь день в магазине, среди старинных часов, столов и стульев, тарелок и бюро, и чувствуешь, что ты – один из них. Такой же предмет, который жил в обстоятельствах, которых не мог изменить, кем-то созданный, со временем переделанный, а теперь вынужденно застывший в ожидании в некоем лимбе, ничего не знающий о своей дальнейшей судьбе, равно как и о судьбе остальных.

Однажды днем пришел покупатель – эдакий похожий на быка типичный йоркширец. Из тех людей, в которых высокомерие и невежество борются за право проявиться в первую очередь. Он с ворчанием переходил от ценника к ценнику, сообщая нам с Синтией, что он очень удивится, если нам удастся содрать такие деньжищи за мебель ар-нуво или за письменный стол.

– О, – сказала Синтия. – Но он ведь из палисандра.

– Какая разница, – ответил посетитель.

– Это вещь времен первых Георгов.

– Да хоть ранняя Месопотамия, это все равно не оправдывает его стоимость.

И тут я не выдержал.

– Есть два типа покупателей антиквариата, – сказал я ему. – Первые чувствуют душу предмета и понимают, что даже мелочи – ложки для соуса, наперстки, серебряные терки для мускатного ореха – можно разве что недооценить. Таких людей я бы назвал истинными почитателями, им дорого все, чем натирали, что надевали, из чего наливали, на чем сидели, подле чего плакали, о чем мечтали, по чему лили слезы, рядом с чем влюблялись – им дороги все эти вещи. Именно эти люди регулярно заходят в антикварные лавки.

Он стоял и слушал, и его глаза и рот, как и глаза и рот Синтии, открывались все шире, и он явно был готов меня перебивать не больше, чем статуэтка в его руке. Фигурка девушки с тамбурином, покрытая розовой и зеленой эмалью. Изначально я приобрел ее в паре с другой. Но та упала и разбилась, когда я, спеша к Рубену, врезался в комод, в тот вечер, когда он погиб. Я продолжал:

– А есть и второй тип. Видимо, именно его представителя я вижу перед собой. Это покупатель, который воспринимает предмет как комплект материалов, из которых он изготовлен. Этот покупатель не задумывается ни о руках, которые создали предмет, ни о многовековой

привязанности, которую давно уже умершие прежние владельцы питали к нему. Нет, такие люди все это игнорируют. Им все равно. Там, где должно видеть красоту, они видят цифры. Они смотрят на циферблат старинных латунных часов и видят только время суток.

Мужчина стоял, смущенный, как и я сам, моим внезапным взрывом.

– Я хотел купить это на день рождения жене, – сказал он, ставя фигурку обратно на место. – Но, думаю, после такого обслуживания я поищу подарок в другом месте.

А когда он ушел, мне пришлось иметь дело с Синтией.

– Теренс, что, Бога ради, ты тут устроил?

– Ничего, – ответил я. – Мне просто не понравилось, как он с тобой разговаривал.

– Господи, Теренс! Я достаточно стара и уродлива, чтобы самостоятельно за себя постоять. А мы только что потеряли покупателя.

– Я знаю. Прости. Дело же не в нем. Прости.

Она вздохнула.

– Ты ведь знаешь, что тебе нужно, да?

Я покачал головой.

– Тебе нужно уехать. Вместе с Брайони. В отпуск. Я могу недельку побыть в магазине.

В отпуск. Это даже звучит нелепо. Танцующий на поминках шут, раздающий людям картинки. В моей голове промелькнуло воспоминание. Мы едем на юг в сторону Франции, а вы с Рубеном спите на заднем сидении, свернувшись друг напротив друга, как открывающая и закрывающая скобки.

– Нет, Синтия, вряд ли, – сказал я, но весь день эта мысль не давала мне покоя.

А может, это не так уж и нелепо. Может, это наша возможность все починить. Собрать все осколки и приладить их обратно туда, где они были раньше. Да. Это шанс исцелить наши расколотые души.

* * *



Я ЗАМЕТИЛ, что после похорон твое поведение несколько изменилось.

Вместо мрачных переливов Пабло Казальса или твоей собственной виолончели из твоей комнаты стала слышна совсем другая музыка. Жесткие, ужасные шумы, я почти каждый вечер просил это выключить.

Ты теперь редко играла на виолончели. Ты все еще еженедельно посещала уроки музыки, но когда я спрашивал, как идут занятия, ты пожимала плечами или хмыкала в ответ. У тебя появилась подруга – Имоджен – о которой я раньше не слыхал, и тебе непременно нужно было звонить ей каждый вечер. Дверь в твою спальню постоянно была закрыта, и я иногда стоял у этой двери и гадал – спишь ты или сидишь за компьютером. Как-то раз, когда ты выходила, я заметил, что ты убрала со стены плакат Пабло Казальса. Изображение старого маэстро, который раньше тебя так вдохновлял.

Я с трудом в это верил. Мне казалось, он был твоим кумиром.

Ты обожала виолончельные сюиты Баха в его интерпретации. Ты даже брала в библиотеке его старые записи. Девяносточетырехлетний Пабло дирижировал специальным концертом в ООН. Крохотный старичок, на чьем испещренном временем лице отображался каждый звук, каждая эмоция, каждое движение оркестрантов, пока между ними не осталось никакой разницы – между человеком и музыкой – и поэтому каждый пассаж, звучавший в огромном зале, казался эманацией самой его души.

Ты зачитывалась его мемуарами и велела мне тоже их прочесть. Я запомнил одну историю – когда он с товарищами поднимался на гору Тамалпаис возле Сан-Франциско. Пабло было уже за восемьдесят, он чувствовал себя слабым и очень уставшим тем утром, но, к недоумению своих друзей, настаивал на подъеме в гору. Они согласились сопровождать его, а потом, на спуске, случилось несчастье. Помнишь эту историю?

От горы откололся большой валун и покатился прямо на них. Валун не задел никого из его спутников, но, глядя на него, Пабло

замер. Пронесясь мимо, гигантский камень попал Пабло по левой кисти и буквально раздавил ее, его ведущую руку. Его друзья с ужасом смотрели на расплюснутые, окровавленные пальцы, но Пабло не выказал ни следа боли или страха. На самом деле он был исполнен облегчения и благодарил Бога, что ему больше никогда не придется играть на виолончели.

«Дар может быть проклятием», – написал человек, поработанный собственной одаренностью с самого детства. Человек, испытывающий приступы паники перед каждым выступлением.

Последний факт всегда утешал тебя, когда приходилось выступать на публике. Так что решение снять плакат незадолго до ежегодного Йоркского фестиваля музыки и драмы казалось бессмысленным. Наверное, это обычное дело, но я расценил твой поступок как признак грядущих, более серьезных, перемен.

Может, мне тогда стоило быть с тобой построже.

Может, мне стоило не дать тебе закрыться. Тогда мне казалось, что ты таким образом проживаешь горе. Отдавая дань уважения жизни брата, ты сама погружалась в свойственную ему таинственность.

Но я не осознавал, что ты продолжишь уходить, что ты будешь ускользать от меня все дальше и дальше, пока не дойдешь до точки, из которой мне будет уже не достать тебя.

Я просматривал рекламу от турагентств в газете и наткнулся на нее – на черно-белую размытую фотографию Колизея. «Цена включает в себя перелет и шесть суток проживания в гостинице “Рафаэль”».

Город веры, античности и перспективы, место, куда люди приезжают скорбеть и принимать преходящую суть человеческой жизни, город, чьи старые храмы и фрески переживут всех нас. Вот о чем я думал.

О, безрассудство отчаяния!

Помнишь тот солнечный вечер, когда мы шли к Синтии, и я остановился посреди Уинчелси-авеню? Ты спросила, в чем дело, а я ответил, что не знаю, что мне просто слегка не по себе. Это было то самое ощущение, которое настигло меня в церкви и когда я продавал велосипед Рубена. Потемнение в глазах и легкое покалывание в области затылка. Очень похоже на маленькие иголки, только теплые, словно крохотные огоньки вертятся и пляшут, прежде чем